

ИДИОТИН

роман



КЭТТИ САБАКЕВИЧ

18+

Kitty Sabakevich

ИДИОТИН

«Автор»

2026

Sabakevich K.

Идиотин / К. Sabakevich — «Автор», 2026

Молодого дворянина Поседона Перепонкина любили все, кто хоть раз у него занимал, и не любили те, кому был должен он сам. Однажды летним утром он, никому ничего не объяснив, сел в коляску и уехал — прочь от долгов, опеки и вечного «не смей». Сатирический роман о минувшей эпохе, где свобода оказывается самой дорогой роскошью, а бегство — единственным честным поступком. История о человеке, за которого всю жизнь решали другие, — и о том, что случается, когда он наконец решает сам.

© Sabakevich K., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	7
Глава третья	11
Глава четвёртая	14
Глава пятая	16
Глава шестая	19
Глава седьмая	21
Глава восьмая	24
Глава девятая	28
Глава десятая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Kitty Sabakevich

Идиотин

Глава первая

Молодого дворянина Посейдона Перепонкина в Энске любили все, кто хоть раз у него занимал, и не любили те, кому был должен он сам. Одним летним утром он, никому ничего не объяснив, сел в коляску и уехал.

Люди, что всю жизнь стояли подле него и говорили «не смей» — кухарка с поварёшкой, гувернёр, даже маменька, — разом потеряли над ним власть. Оставалась свобода: за воротами сказать «не смей» было уже некому — разве что ему самому.

Шерстекозячий переулок был залит утренним солнцем, веяло сиренью. К помещицкому дому подкатила новая коляска на каучуковых шинах; на козлах сидел толстый бородатый кучер.

В большом помещицком доме Перепонкин занимал целый первый этаж, флигель и два мезонина; при доме были экономка и два садовника. Юный барин только на днях кончил курс в университете. Среднего роста, сутулый — с тем тусклым блеском в глазах, какой бывает у людей, привыкших, что за них решают другие.

Из передней выскочил уездный предводитель дворянства, живший у Перепонкина в долг третий месяц, и завращал мигающими глазами — экипаж запаздывал. Услышал копыта — обмяк, выдохнул.

— Экипаж подан, как приказывали, барин! — залился янтарным басом кучер с совиным пером на шляпе.

Сиреневый куст свешивался из-за ограды. Гнедые щипали его не спеша.

Пассажир между тем проглотил передовицу «Азиатского вестника» и шёл по дорожке через старый сад к коляске.

Перепонкин, дожёвывая завтрак, занял место в коляске и молча подал кучеру знак трогать. Предводитель подождал, пока лакеи уложат тяжёлый саквояж, откланялся и пожелал счастливого пути.

Возница крикнул, щёлкнул вожжами, оторвал гнедых от энской сирени и погнал к железнодорожной станции. По правую руку коляску обходили крестьяне, низко кланяясь лошадям.

Экипаж мягко шёл в гору по глинистой дороге; в стороне стоял сосновый лесок, и из зелени с криком поднимались дупеля.

— Стой! — крикнул кучер своим гнедым и, как бочка, выкатился из экипажа на пыльную дорогу, спустился в канаву, набрал полные карманы крупных камней и вернулся, отдуваясь.

— Вот не угодно ли полюбоваться, — говорил он, рассматривая куски зеленоватых кристаллов величиной с гусиное яйцо. — Это что такое, по-вашему?

Перепонкин смотрел в сторону.

— Зумруд, — продолжал кучер. — Настоящий уральский зумруд. Вот вам крест — правда. Уж эту музыку мы отлично знаем. Едем сейчас по чистой россыпи, ей-богу! Бывает тёмно-зелёный изумруд, плотный — тот нам не рука, хотя тёмные попадают большие. А вот такой бледный — наверняк дорогой. Да здесь кругом драгоценные камни, куда ни повернись. Вон в Энске или в Верхнем Невинске прямо в огородах изумруды копают...

Перепонкин попросил ехать быстрее.

Июньское утро вышло на славу. Дорога вилась между нив и берёзовых пролесков. Навстречу шли почтовые тройки; коляска обгоняла вереницы богомолков, спешивших в Екатеринбург к Тихвинской. Скоро коляска поскрипывала вдоль перрона.

— Хе-хе, охота смертная, да участь горькая, — сказал станционный смотритель Тихон Барабанов и осклабился.

Лицо у него было жёлтое, как старая газета. Табак он и нюхал, и закладывал за губы.

— Куда собрались, сударь? Никак в столицу, скажите на милость?

Не успели артельщики снести поклажу — к станции уже гремел поезд, слепя окнами и обдавая всех запахом каменного угля. Пар мешался с гарью, укутывая перрон.

Стая дворняг брызнула в стороны. Перепонкин боялся собак — и многого ещё: высоты, темноты, мелкой насекомой твари, чужих поднятых бровей, кометы, ожидаемой в будущем веке.

— А ну пошли отсюда, залётные! — крикнул Барабанов.

Смотритель знал каждую дворнягу наперечёт: бывало, крикнет «Эх ты, лещеватая бес-тия!» — и из стаи выбегала именно одна, хотя и не всегда такая.

— Тихон Громыч, — сказал Перепонкин, вываливаясь из наклонившейся коляски.

— Да вот стою тут как каторжный, на поезда гляжу каждый день... Эх, а сейчас бы водки, — сказал Барабанов, запуская жёлтые пальцы в старенький бархатный кисет. — Билеты уже не продают! Кассы заперли!

На платформе зафыркала почтовая лошадь.

— Сдай назад! — крикнул смотритель. — Куда лезешь? Третий звонок не слышишь, что ли?

Не подозревал Перепонкин, что поезд этот вёз его совсем не туда, куда он хотел. А куда он хотел — того никто не знал и не узнает.

Глава вторая

Поезд шёл из Тюмени в Петербург через Казань и Москву; он принял уездных пассажиров и тронулся, дёргая состав звено за звеном. Сперва почтовый, за ним товарные, потом буфет и первый класс. Замыкал поезд вагон для мужиков, что ездили подённо на фабрику.

Посейдон — дома Пося, на французский манер Пепе — сбросил сюртук, повесил жилет на латунный крючок и сел в купе первого класса. Один. Он смотрел в окно, где проплывали и уходили назад фабрика, церковь, пруд, церковь. В Энске нечем было дышать.

— О Божи, — проговорил он со вздохом. Достал кожаную записную книжку с греческой надписью и, сделав две записи, задремал. Ненадолго: разбудила станция.

Раскошношёрск был известен тем, что тамошнее земство второй год не могло решить, как звать жителей — раскошношёрцами, раскошноштянами или раскошнобургцами — и в бумагах писало безопасно: «обывателями».

По вагонам прошёл толстый проводник в белых перчатках, пошатываясь и кланяясь в каждое купе, даже если дверь была заперта. Приглашал отобедать, выпить раскошношёрского ликёру или знаменитого божоле с ирбитских виноградников. Готовили недурно. На обед был говяжий бульон, котлеты неизвестно из кого и осетрина а-ля рюс. Посейдон запил всё крупными глотками из графина, ликёра с анисовой не взял, щедро дал на чай, пошёл к себе — заполнить дневник и подвести счёты.

— Изволите папиросу? — остановил его звонкий тенор.

Это был незнакомый юнкер из купе напротив. Небольшой, полный, румяный, в веснушках — даже на губах и внутри ноздрей. Из-под картуза торчали рыжие кудри, глаза большие, голубые, похожие на умные и честные.

Перепонкин любил ум, любил честность, но окружить себя тем и другим не умел: не хватало характера, не хватало веры в своё право. Сказать прямо он не мог. Дома, прося у кухарки чаю, он не говорил «дай чаю», а мялся: «Как бы мне чаю...» — и фальшиво покашливал в кулак. Вот и теперь взял папиросу, повертел её тонкими пальцами, вздохнул и выдал:

— О Божи, извините, сударь. Я бросаю.

И тут же машинально закурил.

— А я обожаю курить. — Юнкер пустил дым из ноздрей. — Я, надо вам сказать, еду из Мурзинской Елани в Нижний на ярмарку и везу целый саквояж самоцветов. Не угодно ли поглядеть?

Посе было не до того, и он сказал, что взглянет позже. Но когда юнкер, показалось ему, собрался зарыдать и пасть на колени, Пося сконфузился:

— Хорошо-с, извольте... Я взгляну.

Зайдя в купе, молодые господа сели. Юнкер раскрыл саквояж и стал выкладывать камни на столик; в стороны брызнули зелёные ящерки.

— Не пугайтесь: ящерки-с, — деловито пояснил он. — Заводятся в камнях, как мыши в зерне. Чем камень дороже, тем их больше; по ним и цену смотрим.

— Целый клад! — продолжал юнкер. — Это тумпас. Это смольяк. Чёрный раухтопаз. — Дальше пошли аметист, кварец, колчедан, берилл, красавец-изумруд. Венчал коллекцию неограниченный бриллиант величиной с яйцо дрофы. Перепонкину больше всех понравился прозрачный камень с железом наверху — оказалось, вагонная перечница.

— А вот вам история. Ей-богу, всё так и было! — Юнкер сиял не меньше своих камней. — Послал раз граф к нам на Урал дворецкого — купить камней на месте.

Пося уже не глядел на него. Под столиком сидела ящерка — он покосился на неё и подтянул ноги, надёжно защищённые от ящериц горчичными штиблетами.

— Вы слушаете? — продолжал юнкер, не дожидаясь ответа. — Жил тот у моей бабки, тогда ещё молодой. Лето, жара, народ пьёт. Полез дворецкий в погреб — со свечой, как и положено дворецким, — а на кадушке с груздями лежит гнёт — камень. Поднёс к огню — просвечивает.

Ящерка юркнула под бархатное сиденье. Опасность миновала, и он тут же зевнул в кулак от скуки.

— Сторговал у бабки за двугривенный: глупая, рада. Повёз в Петербург, а на дороге встречает каторжного жида-ювелира. Тот глядь на все камни: «Продайте вот этот». И синенькую в зубы. Дворецкий смекнул — за двугривенный целую пятёрку! — и отдал, забыв про графа. А камень-то был берилл кровавого цвета, в кожухе, оттого и не видно. Ушёл потом в Вену тысяч за пятьдесят. Бабка, в волости говорят, продешевила шибко.

Помолчав, юнкер прибавил:

— А граф-то тот берилл подарил своей возлюбленной, шведской принцессе. Камень был такой большой, что она подумала, будто граф намекает: повесь, мол, себе на шею да утопись. А всё дурной перевод виноват: не поняли друг друга.

Перепонкин подтвердил, что все шведские принцессы слабы умом, — хотя ни одной из них не знал.

Подошла станция.

— Стольный Тварьск, — объявил вполголоса обер-кондуктор. На ступенях перрона сидели мужики; справа была школа, слева церковь.

Вечерело, клонило в сон. Кряхтя, в вагон поднялся заштатный священник — коренастый старик в коричневой рясе с кожаным поясом. Правый глаз, подёрнутый бельмом, был полузакрыт; на носу — бородавка. Он тщетно искал в тамбуре икону, перекрестился на рычаг, вынул из красного платочка просфору и с поклоном положил перед проводником.

— Ваш билет, — потребовал кондуктор. Поезд тронулся.

— Мне билета не нужно. Я езжу зайцем.

— Зайцем оно покойно, — прибавил он. — Ни у кассы не толкайся, ни билета не ищи, да и кондуктора ласковой. Одна выгода.

В нём Перепонкин узнал отца Иллариона Вратоадова. Грехов за ним водилось довольно. Жил нетрезво, не ладил с причтом, путал метрические записи. Поговаривали, что венчал тайком за деньги и продавал нерадивым чиновникам свидетельства о говении. Слухи держались тем крепче, что был он беден и имел много детей, таких же неудачников: сыновья без дела, дочери не замужем.

Толкаясь костлявыми локтями, старик пробрался к ним и сказал дребезжащим голосом:

— Вы, господа, обо мне не беспокойтесь! Мне ваших беспокойств не нужно. Ни перин, ни соусов, ни фортепьянов — ничего. А вот насчёт пивка да водочки ежели помилосердствуете — тогда другое дело! — Он с надеждой оглядел соседей. — Велите на знакомство рюмочку!

— Вы же человек божий, — строго сказал рыжий юнкер. — Стыд надо иметь.

Это Вратоадова задело, и завязался спор. Все трое, нарушая приличия, заговорили о вере. Перепонкин всегда выпытывал у незнакомцев про доходы, политику и здоровье, а про религию — и подавно.

— А что вы скажете о единстве церкви, батюшка? Отчего у нас за Уралом полно двоеданов?

Вратоадов закис и осел на сиденье, как квашня. Потом собрался:

— А отчего вы расколом католиков не интересуетесь? В тысяча пятьдесят четвёртом году папа римский и патриарх цареградский предали друг друга анафеме. Кто из них двоедан?

Юнкер поглядел на растерянное лицо Посейдона и заступился:

— Полно, батюшка. Человек по простоте спросил, а вы его тысяча пятьдесят четвёртым годом по лбу.

Отец Илларион вставил:

— Эх, налили бы водочки.

— Бог дал хоть сельтерскую, — отозвался юнкер. — Всё лучше, чем ничего.

— Ладно, — не унимался Пося. — А откуда у Христовых апостолов столько русских имён? Лука, Михаил, Матвей, Яков, Семён, Пётр, Андрей, Иван. На Ближнем-то Востоке, тысячу восемьсот лет назад?

— Дак эти имена и пришли на Русь — с верою вместе. Это вас в честь апостолов зовут, а не их в честь вас.

От такой простой логики отец Илларион вдруг перестал казаться страшным.

За окном проплыла безымянная станция, качнуло, графин звякнул о стекло. Пося снова повернулся к Вратоадову. Тот перекрестился.

Перепонкин был набожен, но не религиозен: иногда подпевал на левом клиросе в энской церкви, открывая рот и не зная слов. А кто-то даже, говорят, видел его в синагоге. Успокоения в вере он не искал — а тут вон какие ответы.

Посейдон посмотрел на юнкера. Тот ковырял в носу.

— А если иные вовсе не веруют? — спросил Пося.

— Вы не верите, а я верю. У Вольтера кто-то говорит: не было бы бога — люди б его выдумали. А я так скажу: нет бессмертия — рано или поздно его изобретёт великий человеческий ум.

— А вот, к слову, — вступил юнкер. — Поп у нас в уезде до того молитве поверил, что в засуху, идучи в поле дождя просить, нет-нет да и прихватит сапоги, плащ да зонт под мышку — чтоб на обратном пути, не приведи господь, не подмочило. Каков? Вот это, простите-с, вера! А заговорит о Спасителе — ровно сияние от него по избе, бабы и мужики ничком валяются.

— Хорошо, что цените, — улыбнулся Илларион. — С такой верой и замурованный в стене проживёт припеваючи. А вы где обучались?

— В университете был, да не кончил, — ответил юнкер.

Священник перекрестился.

— А зачем человеку вера, батюшка? — не унимался Пося.

— Чтоб иные мысли в голову не лезли. Она наполняет её, как квашню закваской: дурному и подойти не к чему, проходит мимо.

Отец Илларион отёр губы рукавом и покосился на дверь.

— Ну-ка налейте старому да закусить дайте, — хитро смеялся он. — Голодный-то и архиерей украдёт.

Посейдон кликнул человека и велел подать из буфетного вагона водки и чего-нибудь с икрой.

— Пока несут, батюшка, может, изгоните из меня бесов? Вдруг сидят.

Отец Илларион был священник опытный: его и в новый, Владимирский приход за тем переводили. Сам протоиерей выбрал было его — анафемствовать боярина Льва Толстого. Да тут требовалось иное.

Случай редкий: отчитывать, да в поезде, да на голодный желудок. Порывшись в требнике, он велел зажечь свечи перед образом на столике, надел епитрахиль и стал читать положенные молитвы. Юнкер прислуживал: поставил Перепонкина на колени и строго следил. Буфетчик с графином и подносом тартинок стоял в дверях, качаясь, и плакал, точно на похоронах.

Когда приложились ко кресту, Вратоадов сказал коротенькое слово о любви к ближнему и милосердии божию — и один глаз его покосился на поднос с графином.

— Нет, ты ему епитимью назначь, — настаивал юнкер, пряча усмешку в кулак. — Да поостроже. Чтоб чувствовал! — И он украдкой подмигнул Вратоадову.

Дошло до платы за требу. Вратоадов объявил, что в поездах господь не видит, что творят миряне, а в дальней дороге и пост блюсти не обязательно, — и потянулся длинными губами к рюмке.

Перепонкин выпрямился, расправил плечи и оглядел купе так, будто впервые рад был, что на свете есть и другие грешники.

— Батюшка, а когда же бесы выйдут?

— На девятый день ждите, — отвечал отец Илларион, осоловелый и довольный. — В поездах они не выходят: шибко их боятся.

Поезд стал на полустанке.

— Стоим две минуты, — пробормотал сиплый бас снаружи.

Прошли две минуты, ещё две. Пять, десять, двадцать — поезд стоит.

— Что за чёрт, — юнкер не выдержал, вышел и пошёл к паровозу.

— Иван Матвеич! Скоро ли? — кричал обер-кондуктор под паровоз.

Машинист выполз на брюхе — красный, мокрый, с сажей на носу.

— Ты человек или нет? Чего гонишь? Не видишь? Это не паровоз, а ведро! Не повезу!

— Что же делать?

— Что хочешь! Давай другой!

Помощники бегали кругом, стучали, кричали. Начальник станции в красной фуражке стоял рядом и втолковывал что-то машинисту. От всего этого тянуло спать.

Когда юнкер вернулся, Посейдона не было. Вратоадов сидел один в компании полустофа.

Собирая камни в саквояж, юнкер во хмелю сунул с ними и казённую вагонную перечницу.

Пося вернулся и застал обоих смеющимися. Немного послушал и понял, что смеются над ним: юнкер показывал, как он стоял в купе на коленях. Сказать прямо, что обижен, он не умел; а пуще того боялся, что, обидевшись, останется один, без их весёлой компании.

И тогда он сделал то, что делал всю жизнь: засмеялся вместе с ними. Смеялся громко, показывая, что и ему смешно, — а внутри было пакостно, стыдно, будто он сам себе дал пощёчину, сам же за неё раскланялся. Даже устал от смеха и сел.

Из раскрытой записной книжки юркнула зелёная ящерка. Книжку он тут же захлопнул и отодвинул подальше.

Так прошло два дня. Маленькие станции, мерное покачивание состава, торговцы на перронах — всё перемешалось с бестолковыми рассказами юнкера и хитрыми присказками отца Иллариона, который на каждой станции собирался сойти, но почему-то всё оставался.

Глава третья

Чем ближе к Москве, тем чаще остановки. Народу набивалось всё больше. Юнкер, Перепонкин и Вратоадов потеснились в угол.

— В тесноте, да не в обиде, — сказал Вратоадов.

А народ прибывал и прибывал. В Бутылочногорловске зашли дама с попугаем, при ней прислуга, говорившая по-французски; купец с детьми; почтенная барыня, везшая померанского шпица в коробках; несколько чиновников; господин с рыжими бакенами, в цилиндре, скрывавшем лысину.

Поезд тронулся. Попугай присел и сказал: «Mon Dieu!»

Спать было негде. Чтоб убить ночь, пили бутылочногорловское пиво и придумывали, как устроиться хоть на три часа. Юнкер вдруг оживился.

— Господа, есть средство. Только не знаю, согласитесь ли. Один из нас изобразит сумасшедшего. Другой при нём останется, третий пойдёт к обер-кондуктору: везём, мол, расстроенного родственника, был спокоен, а теперь буянит, и для безопасности прочих его бы отсадить.

Отец Илларион перекрестился и согласился — спать хотелось.

План был прост. Сыграть сумасшедшего никто не вызывался. Бросили жребий. Трезвее всех был Перепонкин — ему бы и быть благоразумнее, но он, по обыкновению, полез со всеми и выиграл.

Обер-кондуктора застали в вагоне третьего класса. Ладони его в белых перчатках были сложены на груди. Нелепая затея удалась: друзьям тотчас отвели отдельное купе. На остановках за дверью сердились голоса:

— А это купе? Потрудитесь отворить!

И тише, с опаской, отвечал кондуктор:

— Извините, как бы чего не вышло: тут больной... сумасшедший... неспокоен.

Шаги удалялись. Друзья заснули, насмеявшись.

Спал Перепонкин дурно. Душили кошмары; под утро он несколько раз просыпался от собственного крика. Встал в десять. Вратоадова и юнкера не было. Он и представить не мог, что случилось ночью.

На глухом полустанке сторож пробежал под окнами и закричал:

— Караул! Багаж унесли!

Юнкер с Вратоадовым, не одевшись толком, выскочили на перрон.

— Вон он! — показал юнкер. — В поддёвке и шляпе, похожей на клоунскую, — держи!

— Держи окаянного! Мой узелок! — Вратоадов бежал следом, подобрав рясу.

— Какой узелок, отец? Когда ты в вагон вошёл, у тебя ничего не было. Это мой саквояж.

— Дак я и говорю — твой.

Вора на перроне не было: он уезжал в тронувшемся поезде, держа на коленях саквояж — тот самый, с камнями.

— Стой! Стой! — крикнул юнкер вслед красному огоньку. Огонёк мигнул и пропал за поворотом.

На плацформе осталось двое: священник, которому терять было нечего, и юнкер, у которого увезли камни.

А поезд уносил вора с саквояжем — и спящего Перепонкина. Обер-кондуктор распорядился приставить к буйному рослого детину в железнодорожном картузе. Тот сидел напротив и смотрел не мигая.

На подмосковной станции Морфей покинул Посю. Пося застегнулся, достал полотенце, взялся за дверную ручку. Дитина вскочил, обхватил его сзади и повалил на диван. Руки его сжимали, как тиски.

— Чего вам? — задыхался Пося. — Пустите!

Детина пыхтел и давил сильнее.

— Погоди, голубчик. Посадят тебя на цепь — узнаешь.

Тут Пося понял. Его, здорового, держат за буйного, и это несправедливо до того, что хоть кричи. Он и всю жизнь так делал: где надо было упереться, покорно опускал руки и соглашался. Прослыть смирным сумасшедшим выходило покойнее, чем затеять при всём вагоне свару. И он дал мучителю отдышаться.

— Хорошо, сударь. С места не двинусь. Пустите.

Детина не поверил, но, видя, что больной лежит смирно, разжал руки и сел напротив. Глаз с него не сводил.

Пося искренне солгал и обиделся, когда ему не поверили.

В Москву прибыли на Рязанский вокзал. Полдень, жара, выжженные дома просили дождя. Паровые поршни встали, и лакеи в красных рубахах кинулись к багажу. Перепонкин смотрел на город из окна, как арестант.

Смотрел он и на выходящих. Господин встречал даму с попугаем — и попугаю радовался больше, чем даме. Попугай сказал: «*Mon Dieu, quelle ville!*» Купца обступили дети. Шпиц выскочил на перрон и весело залаял на Москву.

В коридоре спросили:

— Здесь больной?

— Точно так, господин начальник.

Щёлкнул замок. В дверь просунулась фуражка с красным верхом. Пося рванулся к ней с воплем:

— Господин начальник станции, ради бога!..

Голова в красной фуражке отдёргнулась, замок гроыхнул — и Пося уже барахтался под навалившимся детиной.

Через десять минут пришли трое больничных служителей. Двое взяли за руки, третий с детиной — за воротник. Так буйного и вынесли.

На платформе Пося вдруг увидел в толпе того самого вора — с саквояжем юнкера в руке.

— Держите его! Вор! — закричал он, забыв о служителях.

Городовой свистнул. Вор кинулся бежать, но ноша была тяжела; он бросил её и пропал в толпе. Городовой поднял саквояж, крикнул и едва донёс.

— Что у вас там за тяжесть? Нести невозможно, — отдувался он, подавая саквояж Перепонкину как его вещь.

— Камни.

— Ну понятно. Вам, сударь, в больницу — и верно.

На платформе стоял жандармский полковник с подусниками и голубыми глазами под цвет околыша. При виде всякого, кто имел чин, голос или хотя бы громкие сапоги, Перепонкин внутренне делался меньше ростом и спешил согласиться прежде вопроса. И он воскликнул:

— Господин офицер, умоляю, послушайте!

Тот сделал служителям знак и подошёл.

— Чем могу быть полезен?

Держался полковник хладнокровно, но взгляд бегал, у губ залегла складка. Перепонкин рассказал всё — нервно, запутанно.

Лицо жандарма то выражало участие, то сомнение. Так кивают, слушая детей и сумасшедших. Когда Пося кончил, полковник сказал, глядя в сторону:

— Видите ли... я не сомневаюсь. Но вам ничего не стоит десять минут поговорить с доктором. Он убедится, что вы здоровы, и отпустит. Я ведь в этом деле не судья.

И был так любезен, что дал Перепонкину в провожатые своего помощника, взяв с него честное слово не бунтовать и не бежать.

В экипаже он ехал выпрямившись, улыбаясь, словно гордясь своим провожатым, — и от этого казался всё более сумасшедшим.

Больница открылась не сразу. Сначала был долгий серый забор, за ним ворота, а потом запах — карболка пополам с кислыми щами. За воротами ждали решётки на окнах; на крыше вертелся ржавый петух, а на нём сидел настоящий и поворачивался вместе с ним.

Приехали к часу визитаций.

Глава четвёртая

Ждать пришлось недолго. Больного приготовили, и в приёмную явился целый консилиум: главный врач, ординаторы, смотритель, сторожа и десятка два студентов.

Профессор Василий Феликсович Вельзешперн был почтенен и хорошо одет: поверх жёлтой тройки из башкирского кашемира — белый халат, золотое пенсне на цепочке. Он подошёл и обдал больного валерьяной и хересом.

— Ну-с. Садитесь, покорнейше прошу.

Профессор уставился на него. Перепонкин отвернулся — и засмеялся. Так бывало с ним ещё в гимназии: смех нападал именно тогда, когда смеяться было нельзя.

— Не волнуйтесь, — сказал доктор, не спуская с него тяжёлых глаз. — Врагов тут нет. Они остались в другом городе. Кругом добрые люди, многие вас знают. Меня, к примеру, не узнаете?

От этого тона Пося не сдержался и захохотал.

— Поражение мозга идиотином, господа, — тихо сказал профессор студентам. И, наклонившись, прибавил вполголоса: — Вот он, чистый случай для моей работы.

Профессору случай подвернулся кстати. А больной понимал одно: теперь каждый смешок, каждое резкое слово поставят ему в улику. Оттого и удержаться не выходило вовсе.

Доктор спросил имя, лета, занятие, родителей. Посейдон отвечал коротко и точно.

— Отчество от имени Бювет? Папенька ваш был француз?

— Совершенно верно.

— Да-с. Ясно-с. А скажите, какой нынче месяц?

— Июнь.

— А перед ним?

Тут вышла беда. Пося путал июнь с июлем. Чтоб назвать прошлый месяц, он считал от марта по пальцам, сбился, обозлился и выпалил:

— Июль!

Студенты переглянулись. Он понял, что сказал, побагровел и залепетал:

— А хоть бы и июль... Я нечаянно-с...

Он сжался, выставил локти. Сторожа бросились. Он замахал руками, кого-то задел. Повалили, связали.

— Raptus, — раздался за спиной размеренный голос Вельзешперна. — Бурный порыв.

— И всё же: зачем вы приехали в Москву? — спросил доктор.

Перепонкин молчал.

Открыли саквояж. В нём лежали камни — и ничего больше.

— А где же платье, сударь?

— Это чистые изумруды, — сказал больной.

Профессор не удивился. Велел сторожу достать один. Тот вытащил вагонную перечницу — хрустальную, с железным верхом.

— Да-с. Чистый изумруд. У заражённых идиотином это обычное дело.

Осмотрели карманы. В них нашлись железнодорожная гайка, лайковая перчатка с левой руки и свёрнутая вчетверо вырезка из «Азиатского вестника»:

«Объявляется набор в труппу, которая покорит Париж и Лондон. Требуются на роли молодые люди хорошего состояния, желающие вспыхнуть и погаснуть. Плата за испытание — 150 рублей».

— Ясно-с, — сказал профессор. — Пожалуйте в палату.

Сторожа вывели его под руки. В ушах стучало, пахло нашатырём и мелом. Посейдон понял: теперь он для всех больной. Доказывать нечего.

Его вели длинным коридором, пропахшим карболкой. В подсобке он споткнулся обо что-то живое. Петух и две курицы с кудахтаньем кинулись врассыпную.

— Проходите, сударь, это подсобное, — сказала кастелянша и отворила тяжёлую дверь.

Через двор его повели в дальний каменный флигель. В седьмой палате было темно и сыро, по стене ползла мокрая полоса. Поступившему выдали халат и полотенце с номером семь. Писарь обмакнул перо, скрипнул в книге фамилию, лета, сословие, диагноз — и поставил точку. Больной сел, вздохнул, сказал «О Божи». За спиной щёлкнул замок.

За этой грустью застал его больничный ужин. Чёрный хлеб с отрубями, сельтерская, пюре, рыбные котлеты с огурцом. На десерт — козий творог со следами варенья.

Больной тосковал и думал. Зачем уехал из Энска? Вспоминал усадьбу, сад, экономку, мягкую коляску, поезд с попутчиками.

Пилюли раздавали каждому и следили, чтоб не выплюнул, не передал соседу. Приняв пилюли, Посейдон свалился.

Палата подобралась пёстрая. Тихомиров — бледный, с книгой на коленях. Чижов смеялся и тогда, когда повода не было. Немец Шталь — в трауре из-за невесты, побрившейся в знак любви наголо. И молодой грузинский князь, оприходованный за то, что подписал с Наполеоном трактат. Пося их не упомянул и обращался ко всем «сударь».

К ужину обязанности уже распределились; одному ему занятия не нашлось, и это сочли дурным признаком.

Перед сном разговор о политике и доходах перешёл к медицине. Сошлись на том, что вещь она бесполезная, для отвода глаз. Тихомиров сказал: от всех болезней одно лекарство — время, а доктора берут деньги за то, что и само пройдёт. Князь требовал вернуть ему Мальту. За окном, во дворе, заорал красный петух — и все умолкли. Это было самое умное из сказанного за вечер.

Глава пятая

Перепонкин проснулся от петухов — тех самых, что давеча выскочили у него из-под ног в служебной комнате. Больничные кровати, высокие стены. Жизнь тут шла своим чередом — тоскливо.

Он смотрел в потолок: там была лепнина. «Нелепая лепнина», — подумал он и с этой мыслью проспал до прогулки.

На прогулке все были заняты важными делами: кто лазал по деревьям, кто подметал листья. Сосед по отделению — толстый молодой блондин Виктор Пораженческий, сын мелкого помещика — ловил шмелей. Сажал в аптечную банку и показывал каждому, к кому имел расположение, а за неимением таковых — простому мужичью. Шмели в банке отдавали Богу душу. Виктор хоронил их с почестями, выписывал живые цветы. Делал из этих похорон свои выводы, но делиться ими не любил. С людьми был вежлив, но рассеян — смотрел мимо, в траву, и если замолкал на полуслове, значит, увидел что-то интересное.

Себя Виктор почитал главным над всеми насекомыми и мелким зверьём, что вредит садам, и воевал с ними без пощады. На зиму его враг засыпал по норам — и Виктора отпускали домой.

Раз он поднёс банку и Посейдону.

— Слышите? — И он потряс банкой у самого уха. — Бьётся, бьётся, а толку?

Больной прислушался. Внутри шмель бился о стенки, гудел, искал щель, которой не было. Темно, тесно, где верх, где низ — не разобрать. Он отошёл в сторону и засомневался: а может, я и вправду сумасшедший?

За мыслями, обедом и ужином так и пролетел день. Кормили отменно, хоть и скупое — кукурузная каша, гусиное яйцо всмятку, хлеб с маслом. От сельтерской было несварение. Перепонкин, вернувшись в палату, повалился в постель лицом вниз. За окном сеялся дождь — то вспыхивал в ночном свете, то гас. В соседней палате кто-то кашлял. Он подумал, что впереди ещё целая ночь, натянул одеяло на голову — и услышал сквозь него звуки рояля. Играли в коридоре, худо умея.

Ему отчаянно захотелось писать. Писать матери он не желал, зато имел адрес Льва Толстого — и написал ему.

«Кругом меня нет ни одного свежего человека, и потому я позволяю себе обратиться к вам. Теперь я в трудном возрасте, когда пробуждается проклятый алкалоид идиотин, найденный у меня докторами. Я не знаю, что есть истина. Одно у меня осталось непоколебимое желание — не быть как все, и это желание удерживает меня. Скажите мне только одно: что сделать, чтоб жизнь стала лёгкой и никто не вызывал презрения.

П. Перепонкин».

Письмо он отдал дежурной сестре. Та посмотрела на адресата и коротко, но ясно усмехнулась.

Ответ пришёл через две недели — в сером конверте, надписанном чужой, писарской рукой. Посейдон вскрыл его при всей палате.

«Милостивый государь, Лев Николаевич получает до полусотни писем в неделю и отвечать каждому не успевает. По его поручению посылаю Вам брошюру. Остаюсь готовый к услугам, секретарь».

Брошюра называлась «В чём моя вера?» и была из тех, что в России не печатают. На полях карандашом отчёркнуто было одно место — и не то, которого ждал больной.

Он написал снова: что мяса в лечебнице и так не дают, а земли, которую надлежит возделывать, при седьмой палате нет — разве что двор, но по двору ходят куры. Как быть человеку, если весь его труд — вовремя открыть рот и проглотить пилюлю?

Ответ был скорый: «Делай, что должно, и будь что будет». Что именно ему должно, граф не написал.

Письмо он сложил в восемь раз и спрятал под подушку — но от волнения не под свою.

До полуночи играли в винт на одной тумбе. Чижов хохотал и сыпал анекдотами на всё отделение.

— А знаете, господа, — начал Чижов с учёным видом, — что Пушкин был в опале, уволен со службы, картёжник и дуэлянт?

— Мой дядя-полковник тысячу в год получает, — вставил Ячников.

— А за Пушкина царь все долги выплатил. За тебя кто выплатит?

— Император. У нас империя, а не царство.

— А в «Вестнике» писали, — не унимался Чижов, — будто Гоголь «Мёртвые души» списал с древних папирусов: в раскопках нашли его рукописи.

— Как же его рукописи попали в раскопки?

— Этого наука не объясняет. Наука доказывает.

— О Божи, — вздохнул Посейдон.

— А я вам скажу, господа, что наша интеллигенция измельчала, — заговорил Ячников. Жалкие, ничтожные люди. Вот в Англии — там парламент, там Гладстон. А у нас что? Земство да становой.

— Гладстон старик, — заметил Пораженческий, не отрываясь от карт. — И говорят, Англии не существует.

— Как не существует? А Нельсон? А генерал Мур?

— А так. Выдумали.

— Кто выдумал?

— Польские жида.

Чижов задумался. Ячников закурил папиросу не тем концом.

Перепонкин смотрел на карты, на масти, на алебарду валета пик — всё плыло, растекалось, голоса уходили вдаль.

— Ходите, Посейдон, у вас несомненно есть тройка.

— Да он спит.

Слышались обрывки — про Байрона, политику, эрцгерцога, компот.

Как только он лёг, сон прошёл весь и сразу. Рядом лежал сосед Тихомиров, натянув одеяло до носа. За окном лило.

— Вам не спится? — проговорил вдруг Тихомиров.

— Не спится.

— Тут все не спят. Доктора говорят — болезнь. А по мне — просто незачем.

— Отчего сами пришли? — спросил Перепонкин.

— А куда мне. Жена умерла, дети разъехались, деньги вышли. Три года строил теорию, что всё на свете устроено неправильно, но поправимо. Вышла превосходная теория. Одна беда — места мне в ней не нашлось.

В коридоре переступал ночной слуга.

— Вам сейчас кажется, что это недоразумение и скоро разрешится, — сказал Тихомиров. — Поначалу так всем кажется.

— А потом?

— Проходит.

— А сколько вам лет, сударь? — спросил Перепонкин. — Такой обширный жизненный путь.

— Девятнадцать, — сказал Тихомиров.

Перепонкин помолчал и сказал:

— Да. Это много.

— Спите, — сказал Тихомиров. — *Omnia transeunt, praeter idiotinum*. Всё кончается. Это единственное, что осталось от моей теории.

Перепонкин закрыл глаза. Тихомиров ещё что-то бормотал — тихо, ровно, как дождь за окном.

Глава шестая

На следующий день с Посейдоном приключилась история, которую он потом рассказывал так часто и так по-разному, что ей перестали верить вовсе.

По его словам, в тот день в лечебницу заехал сам государь — за чем именно, никто толком не знал. Пося уверял, что выбирать любимых юродивых. Будто бы Пося полюбился ему с первого взгляда, и его велено было одеть и подать к подъезду.

На выходе Пося наткнулся на высокого господина с бакенами, во франтовском пальто. Помертвев, он шаркнул ножкой и потянулся к руке. Господин руки не дал и объявил, что он не их величество, а всего лишь камердинер. Это поразило Посю до глубины души: неужели такие солидные люди бывают в лакеях? И ради чего?

Дальше в рассказе шли красные дорожки, оркестры, дворец, государыня с лорнетом и завтрак с осетриной; подарки сыпались без счёта. К этому месту слушатели обыкновенно уже расходились.

Так ли было — кто его знает. Но эта история пошла Посейдону на пользу: начальство во главе с Вельзешперном с того дня стало отличать его от прочих. Собрался кружок юношей, желавших ему подражать, и он стал у них за идола. От совета врачей пошли послабления: разрешили театр, телеграф, церковь, трактир и даже Петербург.

Слухи эти дошли и до крёстного — вместе с тем, что крестник в лечебнице.

С утра над Москвой стояли дождевые тучи, было тихо и скучно.

Крёстный, Ганнибал Мамонтов, бывший интендант и офицер, был высокий седой старик тридцати шести лет и носил на обеих руках перстни. Один, с крупным тёмно-зелёным изумрудом, он машинально тёр о жилет, когда собирался сказать что-нибудь важное. Лицо у него было апостольское: борода с проседью, кроткие голубые глаза, тихий голос — всё благочестивое, кроме рук, которыми он гнул подковы. Своей набожностью и скукой он вогнал в блуд двух жён. Постов не нарушал, по праздникам подпевал на клиросе баритоном и любил беседовать о божественном, особенно о Тайной вечере и казнях египетских.

В комнату посещений Мамонтов вошёл, отворив дверь тростью, словно входил в подозрительный погреб. Он уже хотел обернуться и уйти, но увидел крестника, поджавшегося за большим дубовым столом, как серая мышь, и прослезился. Прикрыл глаза ладонью, блеснул перстнями.

Был он золотой человек: через него доставали всё — отару овец, скрипку Страдивари, хоть губернатора. Привирал для красного словца, но так безобидно, что и сам себе верил. Иностранные слова он сыпал наугад: «наивно» значило у него «серьёзно», а «хаос» — «глупость». Любил цитировать Гюго и Мопассана. Слова «грация» и «цивилизация» меняли у него смысл по настроению; когда сердился, оба слова означали одно и то же — мошенничество.

— Вот, принёс. Посчитайте. В этой пачке сорок тысяч. По векселю ещё тридцать у приказчика. Эти ассигнации на десять.

Он вывалил на стол целую кучу кредиток и бумаг.

— Остальное управляющий принесёт. Я на Кавказ, а оттуда, может, в Египет. По концессии. Всё ваше лечение будет оплачено в срок.

Посейдон растопырил тонкие пальцы, перебрал кредитки и бумаги, выпил полграфина воды, спрятал вспотевшие ладони под халат и, сидя, поклонился.

— О Божи. Но сего более чем достаточно.

— Ах да, извините, это не вам. Это я по карточному долгу должен рассчитаться с доктором Вельзешперном. А вам вот две тысячи. Из этой кучи.

Крёстный сунул ему ещё свёрток: пять фунтов конфет, фунт сыру и банку зубного порошку. Посейдон тут же развернул конфекту и положил за щёку.

— Да потрудитесь объяснить, что за недуг?

— Да сущая невинность. Профессор говорит — всему идиотин виной. А в остальном всё благополучно.

Не дожидаясь отъезда крёстного, Посейдон сгрёб со стола всю кучу — и свои две тысячи, и докторские — и понёс в кассу лечебницы. Кредитки торчали из охапки, как перья из недощипанной курицы; он придерживал их подбородком. По дороге встретил делового и весьма порядочного господина и тут же, прямо на больничной лестнице, вложил всё до копейки в предприятие, сулившее миллионы. Деньги были не его, и он их не понимал.

И вернулся довольный в палату, но, вернувшись, осведомился — и узнал, что лечение в заведении ничего не стоило.

Ни благодарности, ни даже прощания крёстный не дождался и немало этому удивился.

На больничном дворе уже смеркалось. Мамонтов вышел и остановился. Мимо него прошёл господин подозрительного вида в клоунской шляпе, на ходу пересчитывая бумажки, схожие с теми, что крёстный только что отдал крестнику. Мамонтов проводил его глазами и накупился.

Из-за угла доносился гул истопной. У телег сидели подёнщики и молча курили. Из подворотни вышла рыжая собака, толстая, как свинья. Она покосилась на визитёра, зевнула и пошла дальше.

Мамонтов покачал головой и молча сел в экипаж.

Глава седьмая

Сразу после вечернего впрыскивания и пилюль Перепонкин остался в палате один — всех распустили на субботу и воскресенье. Он было приготовился к молитве на сон грядущий, открыл рот — и тут почувствовал резкий запах псины. На стене выросла тень. Он медленно повернулся.

Из-за зелёной лампы, не моргая, выглянул мелкий бес. Он появился в аккурат на девятый день, как и говорил Вратоадов. Больной так и застыл с открытым ртом.

Бес вышел из-за лампы, чуть прихрамывая: при каждом шаге лапа становилась то куриной, то козьей.

— С кем имею честь? — спросил Перепонкин.

Бес потупил большие красные глазки.

— Канцелярист я, по бумажной части, — пробормотал он, словно оправдываясь.

— Не стесняйтесь, — сказал Перепонкин. — Подойдите ближе. Я человек без предрас-
судков.

Бес сделал несколько шажков. Вдруг мордочка его по-собачьи сморщилась, глаза закатились.

— Апчхи!

Чихают все: крестьяне, полицеймейстеры, тайные советники и мелкие бесы. Больной не стусевался — только обвёл взглядом палату. Пустая. Гость, кряхтя, отошёл от лампы, вытер мордочку о занавеску и почесался.

— Извините, ваше-ство... я нечаянно...

— Ничего, ничего.

— Ради Бога, извините. Я не желал!

— Ах, успокойтесь, право.

Перепонкин со школьных лет знал: нет на земле ничего хорошего, что в основе своей не имело бы гадости. И брезгливость он подавил.

Бес захромал к записной книжке. Цокнул копытцем, наступил в чернильницу, поклонился, шаркнул лапкой в реверансе.

— По чину, ваше благородие, состою при особе его превосходительства — директора адской канцелярии, — пояснил он вполголоса и воровато оглянулся.

— Пилюлю не желаете?

Бес насадил на свиное рыльце черепаховое пенсне и с недоверием рассмотрел пилюли сквозь треснувшие стёкла. Мех его начал переливаться пятнами. Он помолчал.

Бес выхватил пилюлю и бросил в коридор; там её склевал петух, который к утру выздоровел.

— А чем изволите заниматься? — спросил Перепонкин.

— Определённых занятий у меня нет, — ответил бес, кашляя. — Раньше людей искушал, — он молниеносно выплюнул длинный змеиный язык и схватил им мёртвую муху с края стола, — совращал с пути добра. Теперь это и плевать не стоит: путей добра не осталось.

Он поглядел на живую муху, ползавшую по лампе.

— К тому же люди стали хитрее нас. Попробуйте искусить человека, что университет кончил, огонь и медные трубы прошёл! Вот вы, например. Как я стану учить вас обмануть кого на рубль, когда вы без моей помощи тысячи цапнули? Это у вас, милостивый государь, учиться надо.

Перепонкин одобрительно покивал, раскрыл записную книжку и записал туда что-то.

— Да, служу вредному делу и за обман получаю жалованье. Я нечестен. Но сам по себе ничто — лишь деталь необходимого зла. Все уездные чиновники вредны и даром берут жалованье. Стало быть, виноват не я, а время. Появись я двести лет спустя — был бы другим.

Он мечтательно раскрыл пиллюлю, лизнул порошок, чихнул с такой силой, что покатился по столу и ударился о лампу. Встал, отряхнулся.

— Пардон. Единственное, что спасает нас от чиха, — проговорил бес, — глоток невесть чего из случайного пузырька.

Воспользовавшись замешательством Перепонкина, он приложился к первому попавшемуся и жадно напился. Чих прекратился. Прикрыв когтистой лапкой рот, бес рыгнул — и по палате пролетел лёгкий аптечный дух.

Больной потянулся к графину.

Потом бес рассказал, что мелкая работа осталась. Они, бесы, подталкивают юнцов писать ругательные стихи, учат курить, пьяных купцов — бить прислугу, жён — изменять мужьям, прячут очки на лбу хозяина, чтоб тот полдня искал. В нужный час подбрасывают водку или табак.

— В политику, в искусство, в науку давно не вмешиваемся — ни рожна в этом не смыслим. Паровозов боимся. Изничтожать их надо было в детстве, когда они самоварами были, а теперь поди подойди к нему — эдакая громадина. Иные бросили ад вовсе. Отставные бесы вышли в люди, женились на богатых институтках — кто открыл адвокатскую контору, кто мелкое издательство, кто пошёл по ростовщической части. Живут дельно и уважаемо.

— А доход с этого изрядный? — оживился Посейдон, который у всякого нового знакомого первым делом выпытывал про доходы.

Бес только махнул лоскутом крыла.

Тут бес завалился на бок, нахохлился, поджал лапы — куриную и козью — и сделался похож на свиристеля зимою. Потом резко приподнял зад — из-под меха, со звуком откупоренной бутылки, выкатилось рябое яйцо неправильной формы.

— Извините, ваше-ство... нечаянно...

Яйцо покатилося по краю стола, упало. Раздался писк. Мелкий детёныш летучей мыши вскарабкался по стене и повис на гардине у форточки вниз головой.

— О Божи, — вздохнул Перепонкин. — Вы совсем не имеете стеснения, сударь. Не каждый смог бы нестись при незнакомых господах.

Бес подпрыгнул, замигал, шерсть на холке встала дыбом.

— Извините... нечаянно...

— Раз уж можно нынче вести себя столь нескромно, то и я буду нескромен. Скажите: какое содержание вы получаете?

Бес повернул к нему небольшую медную слуховую трубку.

— Живём в больницах, в пансионах, в домашних печках. За отопление не платим, жалованья нет. Плохо живётся, хоть по миру иди. Помогаем грешникам украсть провизию, себе отсыпая чуть: табачку щепоть, мелочь. Так и перебиваемся.

Бес предложил закурить: поднёс папиросу к своему заду — и она задымилась. Так же ловко подставил его к носу Перепонкина. Тот не умел отказывать — засмолил прямо в палате и в ответ на любезность налил бесу случайного лекарства из пузырька. Бес выпил, раздобрел и разговорился.

— Значит, вас из меня изгнали?

— Да. Бесы так и путешествуют: сами в поездах не можем, боимся. Вселимся в кого-нибудь, а тот тут же возжелает ехать, чёрт знает куда.

— Значит, вам из Энска в Москву понадобилось, ваше неблагородие?

— Именно так-с.

И Перепонкин тут же нашёл тому подтверждение. Он давно замечал за собой: чуть подступала хворь — его так и тянуло в собрание, в трактир, на вокзал, под любым ничтожным предлогом, и всякий раз он возвращался с чувством исполненного долга, разнеся по городу свежих бацилл.

Бес поворачивал глазами, замигал, потом прищурил один, закрыл другой и, словно невзначай, достал из-под меха свиток.

— Вы бы не могли подписать вот тут и тут. Сущя безделица.

Перо пахло керосином. Больной подписал, не читая.

— Милостивый государь, — сказал Перепонкин, — пребывая в этом заведении, вы, верно, набрались опыта. Нет ли у вас сведений, как избавиться от идиотина?

— Есть одно верное средство, — отвечал бес, почёсываясь.

Он сделал вид, что хранит страшную тайну, и приложился к самому уху — так близко, что две-три блохи без труда перебрались на голову Перепонкину.

— Печень, сударь, — вот что выделяет идиотин. Возьмите домашнюю кошку, лучше без глистов. Огладьте до мурлыканья. Сами лягте, а кошку положите справа от пупка, чтоб мурлыканье ушло в печень.

И тут бес со всей силы пнул Перепонкина копытцем в бок.

— Зачем вы дерётесь! Мне больно!

— Извините. Привычка. Простите ради Бога. Больше не буду.

— А почему же вы всё время извиняетесь?

— А потому, что стыдно занимать место в вашем мире. Так вот, это нехитрое средство изрядно ослабит идиотин. Сам Вельзешперн так говорил. Только в больнице запрещают — не по науке.

Бес добавил ещё, что пожилой жид из Новороссии на базаре рассказывал о гимназисте с похожим недугом. Того и розгами лечили, и на горох ставили — ничего не брало. А как стал прикладывать мурлычущую кошку к печени — через полгода всё как рукой сняло.

Больной почесал затылок. Кошки в больнице — против всякой гигиены. Но бес говорил дельно.

Неожиданно раздались шаги: в палату на запах дыма вбежала сестра милосердия и распахнула окно. Бес в ту же секунду исчез, а Перепонкин притворился спящим. Так и уснул — с мыслью, что утром справится у нового знакомого о своих слишком тонких пальцах.

Утром бес пропал. Остался лишь запах керосина да махорки и несколько круглых катышков козьего помёта. Рассыпанные порошки и покусанные пилюли подтверждали: не сон.

Глава восьмая

День был как все прочие и отличался лишь тем, что ходили слухи, будто к обеду станут давать отбивные котлеты. Вместо осмотра в палату явились молодой доктор и кастелянша — и повели Перепонкина в другой флигель.

В круглом зале, ступенями уходившем к потолку, собрался консилиум. Внизу, бородатые и важные, сидели профессора; выше, рядами, — безусые студенты: скрипели карандашами и перешёптывались. В воздухе вместе с карболкой витал стыд. Посреди, под стеклянным колпаком лампы, стоял Вельзешперн и читал по бумаге.

— Я, господа, пришёл к заключению, что человек умирает по недоразумению, — сказал Вельзешперн, поправляя пенсне. — Органы его этого намерения не разделяют. Мозг выдерживает сто сорок шесть лет, сердце — сто девяносто четыре, а одна моя печень проживёт тысячу двести сорок три года и переживёт всю кафедру, если отделить её от меня, дать ей автокефалию и отпускать по рюмке хересу после обеда. Хозяин ей только мешает: сердится, читает газеты, иногда женится. Стало быть, человек есть наименее долговечная часть собственного тела.

Профессора молчали. Молодой прозектор записал про херес, а декан спросил, из каких сумм содержать печень.

Подвели больного. Профессор крикнул в кулак и оглядел его строго, поверх пенсне. Потом взял его руку за кисть, поднял и держал на весу.

Больной хотел было упасть в обморок — что-то закружилось в голове, — но любопытство удержало.

Он был жалок. Тощие руки торчали из халата, голову он втянул, как черепаха, и мигал. Зала молчала.

— Наблюдаем-с несколько недель, — начал профессор. — Идиотин у молодого человека высок чрезвычайно. Анамнез таков: телом здоров, три пуда весу, рост средний, голова малая; курит; ест за троих; в разговоре мелочен; печень расширена, ибо идиотин требует утешения. Главная же странность в том, что алкалоид не выходит через фурункулы, как у всех порядочных отроков, а копится внутри. Ломброзо учит, что в каждом дремлет дикий предок; так вот, господа, в нашем больном этот предок не дремлет, а бодрствует и просит обедать. Прилагаю стенограммы, валики фонографа и карточки в трёх видах: анфас, профиль и со спины. *Nobilis non cogitat, sed patitur.*

Он отпустил руку, выхватил из жилетного кармана стеклянный пузырёк с мутной зеленоватой жидкостью и поднял над головой.

— А вот, господа, и сам алкалоид во всей красе!

Больной сморщился от стыда. Прежде ему и в голову не приходило, как много места в этом мире он смеет занимать.

— А в доказательство, господа, — продолжал профессор, — сейчас мы дадим больному поесть, и он поест. Извольте наблюдать. Даву! Принесите-ка яичницу или что там у вас нынче на завтрак.

Принесли холодную яичницу и ломоть хлеба с маслом. От стыда Перепонкин делался прост, как зверь: хотел либо спать, либо прятаться, либо есть — иного не оставалось. И он принялся кушать.

— Вот, господа, смотрите, что я говорил! Полагаю, теперь всё ясно, и доказательства исчерпывающи.

Вельзешперн сел, вытер испарину со лба и с пенсне.

Зала шумела. У Перепонкина поплыло в глазах. Толпа учёных слилась в одно, надвинулась, закачалась, распухла в громадину, потом сделалась маленькой, как бутылка, и вместе со стульями ушла вглубь залы. Профессор что-то говорил, срывая то рукоплескания, то выкрики.

Вышел другой доктор в белом халате и сказал:

— Можете уводить больного в палату. Следующий по списку консилиума — померанский шпиц, выстреленный из пушки.

Перепонкина увели.

Резолюция вышла такая: предложение пересадить больному печень крупной собаки отклонить как вздорное; алкалоид же, изгнанный лекарством из одной части мозга, переходит в другую, а потому надлежит ждать, пока сам выветрится: после двадцати пяти лет он встречается реже.

В палате между тем уже обсуждали, как доктор блестяще доказал влияние алкалоида.

В тот же день, по обыкновению, был обход. Дойдя до седьмой палаты, доктор справился о состоянии больных, осмотрел зрачки и языки и завёл речь о роли нервов в организме.

За то, что Перепонкин не был в буфете на завтраке, Перепонкина наказали. Что он был главным лицом на консилиуме, кастеляншу нисколько не беспокоило: режим есть режим. Кто бы мог представить, что его недуг привлечёт такое внимание, — прежде он думал, что болеют только бабы да лошади.

Соседи по палате расспрашивали его: как же это — что же он предпринимал для излечения? Посейдон, дабы помочь медицине, принялся вспоминать все испробованные средства. От идиотина он ещё ничего не пробовал — по причине недавнего открытия одного в себе; зато от блуда и запоев вывалил всё, что когда-либо знал.

— Началось с того, — заговорил он, — что отец диакон рекомендовали водку с хреном внутрь — не помогло. Гликерия Анисимовна, особа набожная, дала мне ниточку с Афонской горы и советовала на ночь присыпать голову мышьяком. Ниточку я носил, а присыпки убоился — всё же яд. Раз даже лизал жабу: насоветовал один гимназист, отъявленный шалопай. Вздор, разумеется. Ничего не помогло — иначе не сидел бы я тут.

— А юлианиум не пробовали? — спросили его. — Средство действенное, дорогое, заграничное. Выписать можно только у жидов в Новороссии — лекарство-то из Греции везут!

С мыслями о новом лекарстве больной подошёл к больничному окну. Стало душно. Он сел, как бездомная собака, положив подбородок на подоконник с потрескавшейся белой краской. Каким воздухом пахнуло ему на лицо и шею!

За его спиной гудел спор, а за окном июльский вечер удался на славу. Солнце в золотистой кайме, чуть тронутое багрянцем, висело над крышами, готовое нырнуть за дальние колокольни. За окном кричал разносчик. Тени и пятна полусвета по дворам уже растаяли, воздух поседел; на одних только куполах ещё играла позолота. Было тепло. Недавно прошёл дождь, и без того прозрачный воздух сделался лёгок и душист.

Мимо по мостовой, влажной от летнего дождичка, прокатила нарядная коляска: кони лихие, в лоске, седоки — мещане в соломенных шляпах, при удочках, да гимназист в светлой фуражке, с веслом. Везли их на дачу — рыбу подёргать, по лесу побродить, чаю на воздухе попить.

Сердце его сжалось. Они едут в поле, где пахнет клевером, а его ждёт душная лечебница с арестантским обедом да ранним отходом ко сну. Он завидовал дачникам — всякому, кто волен, когда вздумается, пойти искупаться в реке, названия которой не знал, — завидовал ямщику, улыбающемуся лакею, не глядя на их чин и достаток.

— Юлианиум, юлианиум... — слово это не выходило у него из головы.

Вечером в палату зашла кастелянша Даву. Дама представительная, с холодными глазами и едва заметными усами — вроде отставного прусского вахмистра.

Перепонкин сидел на койке и читал руководство к лечению женских венерических болезней с иллюстрациями М. Шварца, на латыни, — единственную книгу, какую удалось выпросить у фельдшера. Завидев даму, он перевернул её картинками вниз.

— Я к вам от профессора, — сказала она с немецким выговором. — Потрудитесь облечься и следовать за мной.

— Виноват-с... я сейчас... — Перепонкин путался в рукавах больничного халата. — В халате можно-с или надеть сюртук? Простите, я по-домашнему.

— Не стесняйтесь. Наденьте сюртук. Если позволите, я бы присела? — сказала она, уже давно сидя.

— Ах, извините! Прошу вас. — Он любезно предложил даме пузырьрёк с валерьяной. — Не угодно ли лекарств?

Даву в белой перчатке провела по спинке кровати и нашла пыль — должно быть, ещё с прошлого царствования.

— Зачем меня зовут, не знаете? — робко спросил больной.

— Станный вопрос. Откуда мне знать. Готовы? *Ordnung ist die halbe Genesung, die andere Hälfte ist auch Ordnung.* Не заправляйте рубаху в панталоны. Профессор этого не любит. Ну-с.

По дороге встретился Алабин. С кастеляншей он раскланялся, а за её спиной подмигнул больному: ну что, брат, ведут?

В передней пахло нашатырём, спиртом и свежим лаком. За дверью гудел бас профессора. Слов не разобрать — одни раскаты. Некто отвечал ему тонким дрожащим голосом.

Дверь хлопнула. Мимо Перепонкина вынесло маленького доктора — красного, в каплях на висках, с рукой в кармане. Он вцепился ему в локоть мокрой ладонью и захихикал:

— Лют нынче. — Доктор перекрестился дважды. — Но ничего, ничего. Желаю лёгкого пару.

И юркнул в коридор.

Даву отворила дверь:

— Их превосходительство просят.

Перепонкин вошёл. Профессор сидел за столом, красные мясистые руки на ручках кресла, светлые глаза сквозь золотое пенсне. На шее — орден святой Анны. Перед ним лежала бумага.

— Нехорошо-с! — начал Вельзешперн рычащим басом. — В больнице без году неделя, а уже безобразничают. Получил я нынче анализ ваших... гм... извержений-с. Идиотин! Тут чёрным по белому: «разновидность дворянская, с примесью меланхолии и карточной страсти». Капля идиотина убивает лошадь. А в вас его четырнадцать гранов. Даже у Бонапарта было меньше. Месяц — и от рассудка вашего останется одно воспоминание.

— Но Василий Феликсович...

— Но, но! Назначается вам лечение по новейшей германо-шведской методе профессора Блюмкранца. *Was man nicht heilen kann, muss man gründlich behandeln.* Идиотин надлежит выпарить. — Профессор отворил шкаф и достал медный аппарат вроде самовара с трубками. — Камера: больного внутрь, голову наружу, тело — паром в семьдесят градусов. Засим промывание мозга ромашкой через ноздрю; жжёт малость, да дня на три слепнете — пустяки. Засим пиявки на темя, венчиком, по двенадцати штук. Понедельник — камера, среда — голод, четверг — восемь яиц и фунт говядины, пятница — пиявок вдвое.

— Василий Феликсович! — простонал больной. — Я же помру.

— Не преувеличивайте. Помирает один из пяти. Прочие либо выздоравливают, либо впадают в тихое отупение, что тоже недурно: дурные мысли их более не мучают. А думаете, я вас мучаю — ошибаетесь. Я об вас забочусь. Как отец. Как... — Вельзешперн пожевал губами, — ...как отец вашего кишечника, ежели вам так любо это слово. Всё! Даву! Ведите его.

Дверь отворилась. На пороге стояла Даву — с лицом палача.

— Пожалуйте-с.

Он побрёл к выходу. В дверях обернулся:

— Василий Феликсович... а ну как не переживу лечения?

Профессор не поднял головы от бумаг.

— Напишем в журнал: «скончался от избытка идиотина». Звучит научно. Может, и статью в Берлин пошлём. Ступайте.

И Посейдон, чувствуя, как подгибаются колени, поплёлся за кастеляншей.

Глава девятая

В те дни пришло письмо от крёстного, по обыкновению начатое «Mon cher ami». Он писал, что в погоне за юлианиумом ему в Крыму продали мушмулу за две тысячи шестьсот семьдесят два рубля ассигнациями. «Распробовал — кислятина, а грации против юлианиума никакой. Да ведь здоровье, сударь, не купишь, оттого его и продают втридорога: дёшево купишь — никто и не поверит, что лекарство». Перепонкин спрятал письмо под подушку, к прочим — целой пачке, перевязанной аптечной тесёмкой; каждое было про одно: наливки да гибнущее отечество, а лекарства от идиотина как не было, так и нет. Никто бы и не поверил, что о лекарствах хлопочет человек по имени Ганнибал.

Распорядок оставлял Перепонкину много досуга, и он проводил его за перепиской. На столике у койки громоздились конверты, марки, чернильницы и нелинованная бумага. Сторож подавал почту дважды в неделю и всякий раз качал головой: из дамских переписок, знал он по опыту, добра не выходит ни больному, ни лечебнице.

— Перепутаете вы их, барин, — сказал сторож, кладя на столик новую пачку. — Помните моё слово.

Перепонкин вёл разом семь переписок, а по иным подсчётам и девять. Каждое письмо было воображаемым свиданием с той или иной возлюбленной. Совершенства, которых в них не было, он видел во всех семерых сразу.

Главное место занимала Ангелина Сатановская: она обладала всеми добродетелями, кроме умения мыслить. Дальше — троюродная тётка из Могилёва, разорившаяся артистка Брунгильда Кшесинская-Жабо, две казанские гимназистки, Лизавета Н. из Орла и ещё три дамы, чьи имена Перепонкин путал, отвечая одной под именем другой. Никого это не смущало: ответы у всех выходили одинаково тёплые.

В письмах он был корнетом кирасирского полка, что стоит в селе Кириллове, а ныне поправляется после лёгкого ранения на учениях. Ранение менялось от письма к письму: в понедельник контузия, во вторник сабельный порез, в среду падение с лошади. Дамы разницы не замечали и сочувствовали все одинаково.

Писал он и по казённой части. В министерство финансов — с проектом брать с болезней пошлину по чину: с идиотина, как с недуга дворянского, вдвое, зато и лечить особо. В Синод — с запросом, зачтётся ли лечебница за монастырь, ежели соблюдать посты. Из министерства отвечали, что проект принят к сведению. Синод не ответил вовсе, и Пося счёл это за согласие.

Раз он написал и самому себе — в лечебницу, на своё имя, с обратным адресом села Кириллова. Письмо пришло на четвёртый день, распечатанное, с пометой сторожа: «Читано». Пося прочёл и нашёл, что корнет пишет складно, но хвастает.

Главный же труд его был не в письмах, а в конвертах. Надписывал он их с таким тщанием, что почерк выходил чужой, крупный и красивый: иные дамы, знал он, только по конверту и судят. Сургуч покупал у сторожа по копейке за палочку и подозревал, что его обсчитывают.

Ангелина писала длинно, с французскими пируэтами, поминая сирень, Бетховена и тяжкое бремя женской судьбы. В конце каждого письма оставляла за ним третью кадрили и велела быть в субботу непременно. На субботу у Перепонкина всегда приходился обход профессора Вельзешперна — в письмах это шло за осмотр полковых лошадей ветеринаром.

Однажды он запечатал всё разом, торопясь к ужину. Тётке в Могилёв ушло признание, писанное казанской гимназистке: про родинку у ключицы и про то, как он целовал бы её за беседкой. Гимназистке же досталось письмо к тётке — с просьбой выслать тёплые панталоны и пять рублей в долг.

Из Могилёва пришёл ответ. Тётка жаловалась на здоровье и пять рублей выслала. Про родинку не обмолвилась ни словом — то ли не разобрала почерк, то ли разобрала слишком хорошо.

Сторож, подавая этот конверт, ничего не сказал. Только поглядел и покачал головой.

Глава десятая

Великолепным утром всё семейство Сатановских собралось в гостиной. Отец в зелёном фраке и высоком клетчатом галстуке стоял перед окном и с большим вниманием рассматривал мух через линзу золотых очков. Дочь сидела за пяльцами; её небольшая ручка в чёрной митенке грациозно и медленно подымалась над канвой. Аида Аллилуйевна раскладывала на диване пасьянс.

— Ты послал в кирасирский полк приглашение, Богдан Богданович? — спросила она мужа, трогая мизинцем большую бородавку. — На сегодняшний вечер?

— Как же, ма шер, послал, — ответил он. (Ему запрещено было называть её матушкой.)

— Маменька, — заговорила вдруг Ангелина, — а мсье Перепонкин приглашён?

— Какой ещё Перепонкин?

— Он действительный офицер. Он очень интересен, я с ним в переписке состою полгода.

— Это что ещё за новость?

— Да; он собой хорош и молод, его все боятся. Он ужасный дуэлист! — Ангелина мечтательно подняла глаза, а маменька нахмурила брови, изучая чёрный волос, украшавший бородавку. — Я бы очень желала его видеть.

Богдан Богданович перебил дочку:

— Что тут видеть, душа моя? Ты думаешь, он так и смотрит лордом Байроном? Пустяки! Ведь и я, душа моя, в кои-то веки слыл забиякой.

Ангелина с изумлением посмотрела на неуклюжего родителя, засмеялась и поцеловала его в щёку. Богдан Богданович сконфуженно чихнул, испугав мух.

— Не знаю, приедет ли этот офицер, — промолвила Аида Аллилуйевна. — Может быть, и пожалует.

— Смотри не влюбись в него, — заметил отец. — Я знаю, вы все такие теперь... восторженные.

— Нет, — простодушно возразила Ангелина и покраснела.

Помещики — большие охотники давать балы и звать офицеров, дабы нехитрым этим ходом сбывать дочерей замуж. Таков был и Сатановский — врач в отставке, действительный статский советник, владелец шестисот шестидесяти шести десятин и просторной усадьбы в двух верстах от больницы.

Сатановский служил некогда в той же больнице, по хирургической части, но при виде крови падал в обморок; по лени, по любви к деревенской жизни вышел в отставку, зажил помещиком средней руки. Супруга его, Аида Аллилуйевна, урождённая Котлобесова, происходила не совсем законным образом от знатного московского барина. Дочь Ангелина лицом походила на отца, по-французски говорила хорошо, на фортепьянах играла порядочно и воспитана была в либеральном духе — мать, говорят, давала ей читать даже Мопассана.

Сатановский поиграл линзой на солнце, взял шляпу с павлиньим пером и пошёл распорядиться, чтобы в госпиталь, где поправляли здоровье офицеры, послали верхового с приглашением.

По солнечным дням больничный парк был полон. Больных из нервного отделения отпускали подышать, и они разбредались по аллеям, занимаясь кто чем: один щипал траву, повторяя за лошадьми, другой спал в обнимку с деревом, третий гонялся за голубями. Пося же с Пятницким, играя в богов Древней Греции, жгли муравьёв стеклом.

Их игру прервал цокот копыт, потом свист и наконец голос верхового. Верховой приподнял шляпу и закричал:

— Его пр-дитство действительный статский советник Сатановский, здешний помещик, приглашает господ, принимающих лечение, пожаловать к нему сию минуту на ужин!

Всадник мелькнул пингвиным пером и исчез.

— Чёрт знает что такое! — ворчали больные, выбираясь из углов. — Покоя хочется, а тут этот Дьяволовский со своим чаем! Зачем ужин, почему не завтрак?

— Не Дьяволовский, а Адовский, — поправил кто-то.

Посейдон оторвался от важного дела и задумался. Мысли его разбегались, а выбрать он не мог: что лучше — глядеть, как корчатся под лучом его муравьи да как разделённая надвое гусеница ползёт обеими половинами разом, или же ехать на бал?

Но оттого, что давно не был в свете, он согласился: неплохо бы блеснуть туалетами и завязать выгодные знакомства. Да и Ангелина писала, что ждёт его в субботу непременно, — а корнету кирасирского полка не явиться было бы неловко. Другие больные тоже загорелись любопытством. Шли, конечно, пешком: лошадей содержать им было не на что.

— Какой же это Сатановский? — рассуждали они дорогой. — Не тот ли, что заведовал хирургическим отделением?

— Нет, тот не Сатановский, а Баранов, и вроде с «фон»...

Так, переругиваясь, они и дошли. Впереди проступили синие окна большого дома. Аркадий Алабин — плотный, безусый, чующий еду на расстоянии, — потянул носом, обернулся и сказал:

— Да, здесь еда должна быть. Нюхом чувствую запах пирожных с кремом.

У порога гостей встретил сам Сатановский. Пожимая каждому ладонь, он убедительнейше просил извинить, что не оставит их на ночлег: наехали сёстры с детворой, и в усадьбе не нашлось ни единой свободной светёлки. Видно было, что гостям он не рад: звал раненых офицеров, а пришли помешанные. У дверей на всякий случай попросили сдать холодное оружие.

В зале их встретила хозяйка в платье, похожем на муравьеда. Она приветливо улыбалась и говорила, что счастлива видеть у себя «нервных и помешанных». Стоило ей отвернуться, как улыбка слетала с губ. Перепонкин, как дворянин, имел нюх тонкий: ему сразу захотелось бросить бал и воротиться к муравьям.

— Господа, вы все страдаете разными недугами, поэтому представлять вас нет возможности! — громко объявил Сатановский. — Знакомьтесь сами, по-простому.

Кое-как раскланялись и сели к чаю, а кто-то даже залез под стол. Посе было не по себе. Лица, наряды, кувшинчики с коньяком — всё сливалось в туман, от которого делалось тревожно.

За столом Сатановский, две дамы в годах и Ангелина завязали жаркий спор. Ангелина доказывала, что чахотка нынче в большой моде и придаёт даме интересную бледность; Сатановский же от хересу утверждал, что нынешняя публика куда знатнее офицеров:

— Посмотрите! Тут и Гёте, и Бонапарт, и Карл Четвёртый из шестой палаты! Это куда выше майоров!

После чая гости пошли в залу, где уже ждали нарядные дамы. Посейдон вспомнил былые балы, духи, пудру и пот — неуловимый, волнующий запах дам перед танцами. Его размышления прервала Ангелина:

— Господа, ну что же это такое! Мы хотим танцевать!

— Божественная! — воскликнул Алабин, подлетая к ней и шаркая ногами. — Ваш-шу руку! Месье, приглашайте дам! Музыканты, вальс!

Тут же грянула кадрили. Музыкант с большими баками дул в тромбон со свирепым равнодушием, посинев от напряжения. В Посейдоне заговорил выпитый коньяк. Ему ужасно нравилось наблюдать, как какой-нибудь душевнобольной берёт здоровую барышню в обхват.

Посе весь вечер не сводил с Ангелины глаз. Но воспитывала её хитрейшая мать на свете, выучившая дочь располагать поклонников треугольником. Ангелина давно заметила, что за ней наблюдают, и порешила строить не треугольник даже, а сразу квадрат: она то шла в паре с

одним, то смеялась с другим, а напоследок увела двух больных с трясущимися руками играть на бильярде. Пося прокрался вслед за ними.

В бильярдной больные в полосатых халатах, с подрагивающими киями, отпускали каламбуры. Ангелина словно не замечала его. Вскоре гости вышли, и Пося, чувствуя себя лишним, кинулся прочь, точно спасаясь от ревности. Но по дороге заблудился и очутился в тёмной комнате, куда доносились такты мазурки и запах сирени.

Вдруг в темноте зашуршало платье, послышались шаги — и он получил резкий тычок в глаз. Что-то молча, с отвращением, принялось охаживать его острыми тувельками по лицу, заду и спине. Потом всё стихло, и шаги ушли.

— Мазурка женераль! Променад! — доносилось из-за дверей.

Пося кричал, вернее — визжал, но за музыкой его никто не слышал. Он пополз на свет. Сюртук на нём измялся, одна пуговица висела на нитке и при каждом движении цокала об пол, как копытце. У дверей он поднялся; зеркало имелось тут же, и в нём он увидел, что правый глаз превратился в лиловый шар. Ему запомнился один запах духов — запах, которого, если разобрать, и не было.

В зале он встретил Аиду Аллилуйевну.

— Ваш дом мне ужасно нравится! — сказал он, тщетно стараясь спрятать синяк, и потянулся к её руке.

Она отдернула руку:

— Что у вас с глазом? И будет вам обманывать мою дочь в своих идиотских письмах!

Хозяйка пошла прочь. Но какая же тёща до свадьбы, до самого даже знакомства? Невозможно. И он гнал от себя дурные мысли.

Вскоре Ангелина села к фортепьяно и спела романс. После этого Ангелина предложила спеть Посейдону.

— Я всегда охотно пою, — сказал пьяный и избитый Посейдон.

Ангелина согласилась ему аккомпанировать. Их взгляды встретились. Они выбрали модный романс — из тех, что поют во всех гостиных, про роковую минуту признания.

Когда Пося запел тенором про то, как страшен ему этот час и как губительно молчание, Ангелина почувствовала, что он поёт только для неё. Она видела его впалую чахоточную грудь, и слова проникали ей в сердце.

Дослушав, хозяйка одна из всех захлопала в ладоши, объявила, что устала и желает гостям покойной ночи. Гости поняли намёк. Стали расходиться.

Всю дорогу до лечебницы больные смеялись. В палате Пося залез под одеяло. Всё тело ныло от побоев, но, засыпая, он счастливо думал о том, что же завтра напишет ему Ангелина.

Вскоре после бала Ангелину Сатановскую объявили невестой Перепонкина — того самого, что лечился в клинике, едва кончив курс. Сговор прошёл как нельзя лучше. Выпили две бутылки вятского шампанского и полтора ведра водки; барышни осилили бутылку лафита. Родители жениха не приехали. Зато родители невесты плакали и во хмелю целовались с прислугой, а гимназист восьмого класса, племянник Сатановской, провозгласил тост — «O tempora, o mores!» и «Salvete, boni futuri conjuges!» — с таким шиком, что рыжий приказчик с маслобойни прослезился и крикнул: «Чёрт возьми, я любил и люблю её!» — чем доставил подругам невесты невыразимое удовольствие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.